ЖЕНЩИНА И ПРИРОДА

В то роковое лето благодаря знойной засухе и неурожаю во всей стране еще долгие годы страшным призраком бродило в памяти населения. Уже в июне и июле редкие ливни скупо орошали алчущие поля, но с тех пор как календарь перешагнул в август месяц, ни одной капли не проронило небо на землю, и даже тут, на возвышенной тирольской долине, где я, в числе многих других, надеялся найти прохладу, шафранно-желтый воздух был насыщен пылающим зноем и пылью. С раннего утра желтое солнце подымалось на пустом небе и тупо устремляло лихорадочный взор на поблекшую землю. Проходили часы, беловатый, гнетущий пар подымался из медного котла полуденного зноя, и томление охватывало долину. Вдали мощно высились Доломиты, и снег, свежий и чистый, радовал глаз своим блеском, напоминая о прохладе; и было больно глядеть на них и мечтать о ветре, быть может овевающем эти вершины, в то время как здесь, в раскаленной котловине, жадный жар нагромождался днем и ночью и тысячами губ поглощал всю влагу. Постепенно замирали движение и жизнь в этом гибнущем мире завядших растений, чахнущей зелени и иссякающих ручьев. Медленно, лениво тянулись часы. Я, как и другие, проводил эти нескончаемые дни в комнате с опущенными шторами, полураздетый, в безвольном ожидании перемен, в тупом, бессильном томлении по дождю и грозе. Но вскоре погасло и это желание, уступив место тупому безволию, в какое были погружены засыхающие травы и лес, неподвижно застывший под пеленой пара в тяжелом сне.

Но жара усиливалась с каждым днем, а дождя все не было. С раннего утра до вечера палило солнце, и его желтый истязующий взор напоминал тупое упорство умалишенного. Казалось, вся жизнь готова остановиться: все затихло, звери умолкли, с побелевших полей доносился только тихий, поющий звон парящего над ними зноя, только жужжащее кипение сгорающей природы.

Я хотел было уйти в лес, где мерцали голубые тени среди деревьев; там можно было полежать и укрыться от этого желтого упорного взора; но даже эти несколько шагов казались мне утомительными. И я продолжал сидеть в соломенном кресле перед входом в гостиницу, втиснутый в узкую полосу тени, которую бросала на песок выступающая часть крыши. Я подвинулся, когда узкий квадрат тени сжался и солнце подобралось к моим рукам; затем я снова прислонился к спинке кресла и тупо устремил взор в тупой блеск, не чувствуя времени, без желаний, без воли. Время расплавлялось в этой ужасающей духоте, часы расплывались, растворялись в знойных, бессмысленных грезах. Я ничего не чувствовал, кроме обжигающего прикосновения воздуха к моим порам извне и лихорадочного биения крови внутри.

Но вдруг мне почудилось, будто, неведомо откуда, в воздухе пробежало дуновение — тихое-тихое, словно горячий вздох истомленной природы. Я напряженно прислушивался. Не дуновение ли ветра? Я не мог вспомнить, каким он бывает,— давно уже иссохшие легкие не вдыхали его прохлады. Я еще не чувствовал его прикосновения в своем затененном углу, но деревья там, на склоне холма, видимо, почуяли его приближение: они тихо-тихо зашелестели, будто перешептываясь между собой; тени между ними зашевелились, заметались, будто живые; и вдруг где-то вдали, в вышине, раздался низкий вибрирующий звук. И действительно, ветер пробежал по долине, поднялся шепот и шелест, гул и движение: с каждым мгновением рос этот шум, как бы бушующий гул органа, и вот, наконец, раздался мощный удар. Будто гонимые внезапным страхом, поднялись над дорогой дымные облака пыли и понеслись все в одном направлении; птицы, укрывавшиеся где-то в тени, шелестя крыльями, взлетели, замелькав в воздухе черными пятнами; лошади зафыркали, стряхивая с ноздрей пену, и вдали на лугу замычал и заблеял скот.

Пробудилось что-то мощное, и вот — оно приближалось. И земля, и лес, и звери почуяли эту мощь, и небо затянулось легким серым флером.

Я дрожал от волнения. Моя кровь кипела от тонких уколов жары, мои натянутые нервы готовы были заскрипеть; впервые я испытывал такое наслаждение от прикосновения ветра, такое страстное желание грозы. И она приближалась, она надвигалась, росла и вот-вот готова была разразиться. Медленно ветер подталкивал мягкие клубки облаков, за горами что-то пыхтело и кряхтело, как будто кто-то катил непосильную тяжесть. Изредка это пыхтение прекращалось, будто от усталости. И тогда тихо трепетали насторожившиеся ели, и мое сердце трепетало вместе с ними. Куда ни взглянешь, всюду та же напряженность; земля расширила свои трещины: они раскрылись, как маленькие пасти, жаждущие влаги, так раскрывались и поры моего тела, чтобы принять прохладу и освежающую, трепетную сладость дождя. Судорожно сжимались мои пальцы, как бы стремясь схватить несущиеся тучи и заставить их скорее пролиться над изнемогающим миром.

И вот они лениво надвигаются, толкаемые невидимой рукой, как круглые вздутые мешки; черные, отягощенные дождевой влагой, сталкиваясь и ворча, они шумно стукались друг о друга, как громоздкие, твердые предметы: легкая молния, как чиркнувшая спичка, сверкала над их черной поверхностью, и грозно вспыхивал над ними голубой свет. Все теснее они надвигались, все чернее нависала их тяжесть. Как железный занавес в театре, все ниже и ниже опускалось свинцовое небо. Теперь уже весь горизонт был окутан черной пеленой; теплый воздух неподвижно сгустился; наступили последние минуты ожидания, немые и зловещие. Все было подавлено черной тяжестью, нависшей над глубиной: птицы уже не щебетали; бездыханные, высились деревья, и даже былинки не смели шевелиться; небо, словно металлический гроб, поглотило знойный мир, в котором все замерло в ожидании первой молнии. Затаив дыхание, я стоял, судорожно сжав руки, преисполненный сладостной тревоги, не в силах пошевелиться. Я слышал, как за моей спиной двигались люди: одни поспешно возвращались из леса, другие выходили из двери отеля, горничные спускали жалюзи и с шумом закрывали окна. Все вдруг засуетились, заволновались, все к чему-то готовились. Я один стоял без движения, без слов, дрожа, как в лихорадке. Мое напряженное ожидание готово было вылиться в крик,— он подступал уже к горлу,— в крик восторга навстречу первой молнии.

И вдруг я услышал за своей спиной вздох, вырвавшийся из чьей-то измученной груди, и как бы вкрапленный в него умоляющий возглас: «Скорее бы дождь!» Так дико, так стихийно прозвучал этот голос, этот взрыв подавленного чувства, будто из надтреснутых губ жаждущей земли раздался этот возглас; будто истерзанный ландшафт, задыхаясь под гнетом свинцового неба, исторг из своей груди этот стон. Я оглянулся. За мной стояла девушка, видимо, произнесшая эти слова. Ее тонко очерченные губы были еще полуоткрыты, и ее рука, державшаяся за дверь, слегка дрожала. Не ко мне были обращены эти слова и ни к кому другому. Как над пропастью, она склонилась над ландшафтом, и ее неподвижный взгляд не отражал нависшей над елями темноты. Пуст и темен был этот взгляд, как бездонная глубь, неподвижно обращенная к глубокому небу. Он жадно устремлялся ввысь, в сгустившиеся тучи, в нависавшую грозу — меня он не задевал. Я мог спокойно рассмотреть незнакомую девушку. Я видел, как подымалась ее грудь, как душила ее какая-то сила, стремившаяся вырваться наружу, как пробежал трепет по нежной, открытой шее, как задрожали, наконец, и раскрылись жаждущие губы и снова произнесли: «Скорее бы дождь!» И опять прозвучали эти слова вздохом всей истомленной зноем земли. Будто сновидение, стояла она, устремив в пространство неподвижный взор, и облик ее, вызывая мысль о сновидении, напоминал сомнамбулу. Вся белая, в светлом одеянии на фоне свинцового неба, она казалась воплощением жажды и томления изнемогающей природы.

Что-то тихо зашевелилось в траве. Что-то застучало по карнизу. Что-то захрустело в горячем щебне. Повсюду раздавался легкий шелест. И вдруг я понял: это были капли, тяжело падавшие капли, благословенные предвестники большого, шумящего, охлаждающего дождя. Да, начинается! Началось! Какой-то дурман, какое-то блаженное опьянение охватило меня. Я ожил. Я вскочил, подставил руку. Тяжелая освежающая капля упала на мои пальцы. Я сорвал шляпу с головы, чтобы сильнее чувствовать прикосновение насыщенного влагой воздуха к волосам и ко лбу; я дрожал от нетерпения ощутить вокруг себя этот шум, почувствовать его влагу на себе, на своей разогретой, высохшей коже, в раскрытых порах, глубоко-глубоко, вплоть до разгоряченной крови. Они были еще скудны, эти гулко падающие капли, но я уже предвкушал тяжесть их безудержного потока, я уже слышал шум и гул раскрытых шлюзов, я уже ощущал блаженство минуты, когда небо разверзнется над лесом, над духотой сожженного мира.

Но странно: капли не учащались, их можно было пересчитать: раз, раз, раз, раз; со всех сторон раздавался легкий свист, хруст, жужжание, но все эти звуки не соединялись в стройный хор шумной музыки дождя. Робко падали капли: одна за другой, все тише и тише, и вдруг шум окончательно прекратился. Как будто умолкло внезапно тиканье часов, и будто время приостановилось. Сердце мое, горящее нетерпением, обомлело. Я ждал, ждал, но напрасно. Небо глядело, нахмурив лоб, неподвижно и мрачно; мертвенная тишина наступила на несколько мгновений, и мне почудилось, что легкая насмешливая улыбка разлилась по его лицу. На западе засветились выси, стена туч постепенно раздвигалась, с тихим шумом они стали удаляться. Все прозрачнее и прозрачнее становилась ее глубина, и насторожившаяся природа, сливавшаяся с прояснившимся горизонтом, была охвачена горьким чувством.

Гневный трепет пробежал по деревьям; они наклонились, как бы сгорбились, опустили свои зеленые руки, только что жадно протянутые, а теперь омертвевшие. Все прозрачнее становилась облачная завеса, злая, зловещая ясность стояла над бессильным миром. Все утихло. Гроза рассеялась.

Я дрожал всем телом. Гнев меня обуял; бессмысленное возмущение бессилия, разочарования, возмущение против предательства. Мне хотелось кричать, неистовствовать. Я горел желанием разбить что-нибудь, сделать что-нибудь злое, роковое. Меня обуревала бессмысленная жажда мести. Я переживал мучения всей разочарованной природы: ощущал в себе томление каждой травинки, зной улиц и леса, жар известняка, жажду всего обманутого мира. Мои нервы были натянуты, как проволока, я почувствовал их электрическое напряжение в этой сгущенной атмосфере; точно маленькие огоньки, они пылали под натянутой кожей. Все причиняло мне боль; каждый звук казался мне уколом, все было как бы окружено пламенем, и взор, куда бы он ни обращался, ощущал ожог. Все мое существо до самой глубины было охвачено возбуждением; я чувствовал, как инстинкты, обычно неосознаваемые, раскрылись, как множество маленьких ноздрей, и каждая из них вдыхала пламя. Я не мог различить, где кончалось мое собственное возбуждение и где начиналось возбуждение окружающего мира; тонкая мембрана ощущений, отделявшая меня от него, была разорвана; все слилось в одно общее чувство возбуждения и разочарования, и, устремив лихорадочный взор в долину, постепенно засветившуюся множеством огней, я чувствовал, как каждый маленький огонек загорался во мне, как каждая звезда обжигала мое тело. Безграничное лихорадочное возбуждение царило во мне и вокруг, и магически болезненно я ощущал, как все вокруг набухало, сгущаясь во мне и разгораясь пламенем вне меня. Мне казалось, что объято пламенем таинственное живое зерно, единое во множестве существ. Все чувствовал я с магической остротой: и гнев каждого листка, и тупой взгляд собаки, с опущенным хвостом бродившей у дверей,— все я осязал, и все причиняло мне боль. Почти физически я ощущал в себе этот жар: я коснулся пальцами двери, и мне почудилось, что она зашипела под ними, как трут, и запахло гарью.

Зазвенел гонг, призывая к ужину. В глубине моего существа отразился его металлический звук, он тоже причинил мне боль. Я обернулся. Куда подевались люди, так недавно томившиеся здесь в страхе и волнении? Где она, стоявшая здесь, как олицетворение истомленного мира,— я совершенно забыл о ней в смутные минуты разочарования. Все исчезло. Я был один среди умолкнувшей природы. Еще раз охватил мой взор выси и дали. Небо было пустое, туманное. Звезды покоились под туго натянутой вуалью, восходящая луна сияла злым блеском кошачьего глаза. Тускло было вверху, насмешливо, зловеще, а внизу, в глубинах обманчивой твердью, темнотой наступала ночь, насыщенная фосфором, как будто тропическое море, дышащее мучительно и сладострастно, словно разочарованная женщина. В последний раз засияли в вышине угасающие лучи, а внизу уже стелился душный, томительный, тяжелый мрак. Враждебно вглядывались друг в друга две глубины — жуткая, немая борьба между небом и землей. Я дышал учащенно и вдыхал волнение. Я коснулся травы — она была суха, как дерево, и хрустела меж пальцев.

Снова раздался гонг. Тягостен был мне этот мертвый звук. Мне не хотелось есть, не хотелось видеть людей, но одиночество и духота на террасе становились невыносимы. Свинцовое небо глухо давило мне грудь, и я чувствовал, что не в силах выдерживать эту тяжесть. Я вошел в столовую. Все уже сидели за своими столиками. Они тихо разговаривали между собой, но даже тихий звук был слишком резок для моего слуха. Все становилось мучительным, все раздражало натянутые нервы: легкий шелест губ, бряцание ножей и вилок, звон тарелок, каждый жест, каждое дуновение, каждый взгляд. Все задевало меня, все причиняло боль. Я должен был употребить усилие, чтобы удержаться от какого-нибудь безумного поступка. Я чувствовал по биению пульса: меня охватила лихорадка. Я разглядывал каждого из присутствующих и к каждому из них чувствовал ненависть: как могут эти обжорливые люди сидеть так мирно и спокойно, когда я пылаю, будто в огне!

Зависть овладела мною при виде этого сытого и уверенного покоя, безучастного к мучениям целого мира, к бессильному гневу, взволновавшему грудь истомленной земли. Всех я обвел глазами: не найдется ли среди них хоть одна сочувствующая душа? Но все были тупы и беззаботны. Здесь собрались только отдыхающие спокойные, уравновешенные люди — все бодрые, бесчувственные, здоровые, и только я — больной, охваченный лихорадочным жаром вселенной.

Мне подали ужин... Я попробовал есть, но кусок не лез мне в горло. Всякое

прикосновение становилось невыносимым. Я был насыщен духотой, испарением страдающей, больной, измученной природы.

Рядом со мной кто-то пододвинул стул. Я содрогнулся. Каждый звук обжигал меня, как раскаленное железо. Я оглянулся. Там сидели незнакомые люди — новые соседи, которых я еще не знал. Пожилой господин с женой — мещански уравновешенные люди с круглыми спокойными глазами и жующими ртами. Но против них, вполоборота ко мне, сидела молодая девушка, по-видимому, их дочь. Мне была видна только белая тонкая шея, и над ней, как стальной шлем, синевато-черные роскошные волосы. Она сидела неподвижно, и ее оцепенение подсказало мне, что это та самая девушка, которая стояла на террасе, позади меня, и ожидала дождя, как увядающий белый цветок. Ее маленькие болезненно-хрупкие, беспокойные пальцы бесшумно играли ножом и вилкой, и окружавший ее покой действовал на меня благотворно. Она тоже не притронулась к еде и только раз быстрой и жадной рукой схватила стакан. И по этому порывистому движению я радостно угадал, что и она охвачена мировой лихорадкой, и мой взор дружелюбно и растроганно коснулся ее шеи. Итак, я нашел человека, одного-единственного среди всей этой толпы, который не оторван окончательно от природы, который причастен к мировому пожару, и мне захотелось подать ей весть о нашем братстве. Мне хотелось крикнуть ей: «Почувствуй меня! Почувствуй меня! Я тоже горю, я тоже страдаю! Услышь меня, услышь!» Я окружил ее магнетическим пламенем желания. Я впился взором в ее спину, издали ласкал ее волосы, я звал ее губами, мысленно прижимал ее к себе, не сводил с нее глаз, устремив на нее весь свой лихорадочный жар в надежде найти в ней дружеский отклик. Но она не обернулась. Она оставалась неподвижной, как статуя, холодная и чужая. Никто не хотел мне помочь. Даже она не услышала меня. И в ней я не нашел отражения мировой муки. Я сгорал один.

Я был не в силах далее выносить эту гнетущую, захватившую все духоту. Запах теплых блюд, жирных и приторных, мучил меня, каждый шорох действовал мне на нервы. Кровь бурлила во мне, я был близок к обмороку. Все слилось во мне в безысходное томление по прохладе и простору, и эта тупая близость людей давила меня. Рядом со мной было окно. Я широко распахнул его. И странно: опять все было окутано тайной, и беспокойные вспышки в моей крови растворялись в безграничности ночного неба. Светло-желтым пятном сияла луна, как воспаленный глаз в красном кольце дыма, и над полями призрачно бродил бледный туман. Лихорадочно трещали сверчки, будто металлические струны были протянуты в воздухе, распространяя пронзительный звон. Иногда тихо и бессмысленно раздавался крик жабы; лаяли и громко выли собаки; где-то вдали ревели звери, и я вспомнил, что в такие ночи лихорадка отравляет молоко у коров.

Природа была больна; в ней чувствовалось то же неистовство озлобления, и я смотрел из окна, как в зеркало, отражающее мои чувства. Все мое существо было устремлено туда: тяжесть, давившая меня, слилась с тяжестью природы в немом влажном объятии.

Снова задвигали стульями рядом со мной, и снова я содрогнулся. Ужин был окончен, люди шумно поднялись. Соседи мои тоже встали и прошли мимо меня. Первым прошел отец, спокойный и сытый, с приветливым улыбающимся взором, за ним последовала мать и, наконец, за нею дочь. Теперь только я увидел ее лицо. Оно было желтовато-бледное, того же тусклого болезненного цвета, как и луна; губы, как и прежде, были полуоткрыты. Она ступала бесшумно, но тяжело. Была в ней какая-то вялость, изнеможение, удивительно напоминавшее мне мое собственное состояние. Я ощутил ее приближение и заволновался. Во мне зашевелилось желание встать ближе к ней, коснуться ее белого платья, почувствовать аромат ее волос. И вот она взглянула на меня. Холодный и мрачный ее взгляд пронзил меня, засел глубоко, и мрак расстелился передо мною, заслоняя ее светлый облик. Мне казалось, я падаю в пропасть. Она приблизилась еще на один шаг, но этот взгляд не покидал меня; он, как черное копье, все глубже и глубже вонзался в меня. Вот его острие коснулось моего сердца, и биение его остановилось. На одну-две секунды задержала она свой взгляд на мне, затаившем дыхание,— всего несколько мгновений,— и я почувствовал, что загипнотизирован черным магнитом ее зрачка. Она прошла мимо. И сейчас же я ощутил, будто из раны устремилась моя кровь и горячо разлилась по всему телу.

Что это было? Я будто очнулся от глубокого сна. Верно, лихорадка помрачила мой рассудок, если я мог потеряться в случайно брошенном взгляде женщины? Но не прочел ли я в этом взгляде то же немое неистовство, ту же изнывающую, безумную, томительную жажду, которая чудилась мне везде и повсюду — во взоре красной луны, в пересохших губах земли, в воющем крике животных,— ту жажду, которая дрожала и во мне? О, как дико смешалось все в этой магической, душной ночи; как все растворилось в едином чувстве ожидания и нетерпения! Мое ли это было безумие, безумие ли всего мира? Я был взволнован, я жаждал ответа, и я последовал за ней на террасу. Она сидела рядом с родителями, спокойно прислонившись к спинке кресла. Неуловим был ее опасный взор под опущенными веками. Она читала книгу, но я ей не верил. Я знал: если она разделяет мои страдания, если она переживает бессмысленную муку изнывающего мира, она не может отдыхать в спокойном раздумье; это игра в прятки: она прячется от чужого любопытства. Я сел напротив нее, устремив на нее пристальный взгляд, и лихорадочно ждал ее взгляда: не вернется ли он, околдовавший меня, не выдаст ли мне свою тайну? Но она не шевельнулась. Рука равнодушно перелистывала страницу за страницей, и взор ее оставался скрытым. А я сидел напротив и ждал, ждал с жгучим нетерпением. Какая-то загадочная сила напряглась во мне, подобно мускулу, мощная, почти физическая сила, стремившаяся сломить это притворство. Среди людей, уютно беседующих, курящих, играющих в карты, происходила между нами немая борьба. Я чувствовал, что она, подавляя желание, заставляла себя не глядеть, но чем упорнее она сопротивлялась, тем сильнее становилось мое упрямство. И я был силен, потому что бушевало во мне ожидание всей истомленной земли и жгучий зной обманутого мира. И как наступала на поры моего тела влажная духота ночи, так моя воля боролась с ее волей, и я знал: сейчас она должна взглянуть на меня, должна.

В гостиной кто-то заиграл на рояле. Тихо доносились к нам звуки беглых пассажей; по ту сторону люди шумно смеялись над какой-то глупой шуткой. Все я слышал, видел все, что происходило вокруг, в то же время ни на минуту не забывая своей цели. Я громко считал секунды, не спуская пристального взгляда с ее век и стараясь внушением заставить ее поднять упрямо опущенную голову. Проходили минуты,— все еще доносились к нам переливы музыки,— и я чувствовал, что силы начинают меня покидать, как вдруг она поднялась и в упор взглянула на меня, прямо на меня. Это был тот же безграничный взор, черная, страшная, засасывающая пустота, жажда, поглощавшая меня без сопротивления. Я пристально смотрел в эти зрачки, будто в черное отверстие фотографического аппарата, и чувствовал, как исчезает в нем мой облик, растворяясь в чужой крови, как я отрываюсь от самого себя. Пол зашатался под моими ногами, и я ощутил всю сладость головокружительного падения. Высоко надо мной все еще раздавались звенящие пассажи, но я уже не различал, откуда льются эти звуки. Кровь отлила. Дыхание остановилось. Невыносимой тяжестью давили меня эти минуты, эти часы, эта вечность, и вот ее веки опустились. Я вынырнул, как утопающий из воды, дрожа от холода, от перенесенной опасности.

Я оглянулся. Среди других, склонившись над книгой, прямо напротив меня, тихо сидела стройная девушка, неподвижно, словно нарисованная, и только под тонкой одеждой слегка дрожали ее колени. Дрожали и мои руки. Я знал, что снова начнется сейчас эта сладострастная игра ожидания и сопротивления, что пройдет несколько напряженных минут — и снова я внезапно окунусь в черное пламя ее взора. В висках стучало, кровь кипела во мне. Я не мог дольше выносить этого состояния. Я встал и, не оглядываясь, вышел.

Широко раскинулась ночь перед сияющим домом. Долина казалась потонувшей, и небо чернело и сверкало влажно, как мокрый мох. И тут не было прохлады — всюду то же угрожающее сочетание жажды и опьянения, то же, что и в моей крови. Что-то влажное, нездоровое, как испарения лихорадки, тяжело нависло над полями, испускавшими молочно-белые пары; призрачные вспышки пламени бродили вдали, сверкая в отяжелевшем воздухе; вокруг луны лежало желтое кольцо, и взор ее был злобен. Я чувствовал крайнюю усталость. Увидев забытое здесь соломенное кресло, я опустился в него и, вытянувшись, почувствовал такое облегчение, будто члены моего тела покинули меня. Прислонившись к мягкой соломе, я вдруг ощутил духоту благодатной. Она больше не мучила меня: нежно, сладострастно она прикасалась ко мне, и я не сопротивлялся. Я только закрыл глаза, чтобы ничего не видеть, чтобы сильнее ощутить природу и окружающую меня жизнь. Как полип, как мягкое, гладкое, сосущее существо, охватила меня ночь, касаясь меня тысячами губ. Я лежал и чувствовал, что уступаю, отдаваясь чему-то, меня обнявшему, охватившему, окружившему, сосущему мою кровь, и впервые я чувственно постиг в этих душных объятиях переживания женщины, растворяющейся в нежном любовном экстазе. Жуткую радость испытал я в этом непротивлении, передавая свое тело объятию вселенной: сладостно было нежное прикосновение невидимого к моей коже: оно проникало в глубь моего существа, сковывало члены, и я не боролся с этим усыплением внешних чувств. Меня постепенно охватывало новое переживание, и неясно, словно во сне, я ощущал, что эта ночь и тот взор, женщина и природа, слились в одну необъятность, в которую сладостно было погружаться. Минутами мне казалось, что этот мрак — это она, что теплота, согревающая меня,— ее тело, растворившееся в этой ночи вместе с моим, и, чувствуя ее и во сне, я терялся в этой темной, теплой волне сладострастного самозабвения.

Вдруг что-то испугало меня. Я напряг все свои силы и не мог прийти в себя. И тут я увидел, я понял, что, полулежа с закрытыми глазами, я заснул. Должно быть, я проспал час, быть может, два: свет на террасе гостиницы погас, и все было погружено в сон. Влажные волосы прилипали к моим вискам; как горячая роса, опустился на меня этот сон без сновидений. Я поднялся, чтобы найти дорогу к дому. Смутны были мои чувства, но так же смутно было вокруг меня. Вдали гремело, и редкие зарницы грозно вспыхивали в небе. Воздух был насыщен блеском искр, за горами сверкали предательские молнии, и во мне фосфорически светились воспоминания и предчувствия. Я бы охотно остался, чтобы опомниться и предаться сладостному разгадыванию тайны своих ощущений. Но час был поздний, и я вошел.

Терраса была пуста. Кресла еще стояли в беспорядке при тусклом свете свечи.

Призрачной казалась их немая пустота, и невольно в одно из них я вместил нежный стан странного существа, которое так смутило меня своим взором. В глубине моей души он еще жил — этот взор. Он был подвижен, и я чувствовал, как он блистал из мрака; таинственное предчувствие чуяло его где-то здесь, в этих стенах, и бродило у меня в крови неясным ожиданием. Мне было душно. Стоило мне закрыть глаза, как под веками вспыхивали красные искры. Еще сверкал во мне белый, знойный день, еще трепетала эта сырая, сияющая, сверкающая фантастическая ночь.

Но я не мог оставаться здесь, на террасе. Было темно и одиноко. Я нехотя поднялся по лестнице. Было во мне какое-то сопротивление, которого я не мог побороть. Я был утомлен, но мне казалось, что ложиться спать еще рано. Какое-то таинственное ясновидение обещало мне приключение, и во мне зародилось желание увидеть что-нибудь живое, согревающее. Будто тонкие щупальца выросли у меня, пока я пробирался по лестнице: я прикоснулся ко всем комнатам, и, как прежде все мои чувства были направлены на природу, так теперь я перебросил их внутрь дома; я чувствовал сон и спокойное дыхание множества людей, тяжелую циркуляцию их густой, черной крови, их благодушный покой, тишину и в то же время присутствие какой-то магнетической силы. Мне чудилось здесь что-то бодрствующее вместе со мной. Был ли это тот взор, была ли это природа, которые все лили в меня это тонкое, жгучее безумие? Мне казалось, что сквозь стены я ощущаю прикосновение чего-то мягкого; маленький, беспокойный огонек трепетал во мне, дразнил кровь и не угасал. Нехотя я поднимался по лестнице, останавливался на каждой ступеньке и вслушивался — не только слухом, но всем своим существом. Ничто бы меня не удивило; все во мне ожидало чего-то небывалого, неслыханного; я знал: эта ночь не завершится без чего-то чудесного и духота должна разразиться молнией. Еще раз, стоя у перил лестницы, я ощутил в себе весь истомленный мир, вздыхающий по грозе. Но ничто не шевельнулось. Только тихое дыхание бродило по уснувшему дому. Усталый и разочарованный, я поднялся на последние ступени; моя одинокая комната страшила меня, как гроб.

Тускло блестела в темноте ручка двери, влажная и теплая. Я вошел. Распахнутое настежь окно открывало черный четырехугольник ночи — верхушки густых елей и между ними кусок облачного неба. Темно было внутри и снаружи — в мире и в комнате, но странно и непонятно: у оконной рамы светлело что-то узкое, прямое, как затерявшаяся полоска лунного света. Я в удивлении приблизился, чтобы разглядеть, что это блестит так ярко в безлунной ночи. Я приблизился, и светлое пятно зашевелилось. Я изумился, но не испугался: в эту удивительную ночь я был готов к самым фантастическим событиям; все было уже предчувствовано — все явившееся в сновидении. Никакая встреча меня бы не поразила и меньше всего — эта встреча. И действительно: это была она — та, о ком я бессознательно думал на каждой ступеньке, при каждом шаге, который я делал в этом спящем доме, и чье бодрствование мои возбужденные чувства воспринимали сквозь стены и двери. Облаком представилась она мне, окутанная, словно туманом, ночным одеянием. Она прислонилась к окну, и, всем существом обращенная к природе, будто отраженная в мерцающем зеркале ее загадочной бездны, она казалась сказкой: Офелия над прудом.

Я подошел ближе, смущенный и взволнованный. Шум, должно быть, дошел до нее. Она повернулась. Ее лицо было затемнено. Я не знал, видела ли она меня, слышала ли мои шаги: в ее движении не было ни резкости, ни испуга, ни сопротивления. Все было тихо вокруг. Раздавалось только тиканье карманных часов, висевших на стене. Вдруг, еле слышно и неожиданно, в тишине прозвучали слова:

— Я так боюсь.

С кем она говорила? Узнала ли она меня? Ко мне ли она обращалась? Или говорила во сне? Это был тот же голос, тот же дрожащий звук, который трепетал сегодня на террасе при виде надвигающихся туч, еще до того, как встретил меня ее взгляд.

Странно было все это, но я не был ни удивлен, ни смущен. Я подошел к ней, хотел успокоить, взял ее за руку. Рука была горяча и суха, как трут; слабо зашевелились в моей руке ее пальцы. Все в ней было вяло, беспомощно, безжизненно. И только губы прошептали еще раз, как будто издали:

— Я боюсь! Я так боюсь!

И тихо вздохнула она, как будто задыхаясь:

— О, как душно!

Эти слова, произнесенные шепотом и будто вдали, прозвучали тайной между нами. И все же я чувствовал: они были обращены не ко мне. Я схватил ее за руку. Она не сопротивлялась, лишь слегка задрожала, как деревья тогда, в ожидании грозы. Я крепче прижал ее к себе. Без сопротивления, словно теплая, ниспадающая волна, коснулись ее плечи моей груди. Теперь, наконец, я прикасался к ней. Я вдыхал зной ее кожи, влажный аромат ее волос. Я не двигался, она молчала. Странно было все это, и любопытство мое разгоралось. Постепенно росло мое нетерпение. Я коснулся губами ее волос — она не сопротивлялась. Тогда я поцеловал ее губы — они были сухи и горячи — и, едва я поцеловал ее, они вдруг раскрылись, будто вбирая влагу, но без жажды, без страсти, как у ребенка, сосущего спокойно, вяло, ненасытно. Полной томления ощутил я ее. Как ее губы, прильнуло ко мне ее стройное, теплое, сквозь легкое одеяние трепещущее тело, и прикосновение его напоминало мне только что испытанное прикосновение ночи — бессильное, спокойное, но полное упоения и жажды. И вот, держа ее в своих объятиях,— мысли бродили ярко и беспорядочно,— я ощутил теплую, влажную землю, изнывающую в трепетной жажде освобождения, ощутил бессильную, знойную, пылающую природу. Я целовал и целовал ее, и мне казалось, будто я обнимал весь огромный душный, истомленный мир, будто жар, которым пылали ее щеки, был испарением полей, будто ее мягкой теплой грудью дышала трепещущая земля.

И вот, когда мои блуждающие губы были готовы прикоснуться к ее векам, к глазам, черную вспышку которых я так трепетно ощутил, когда я поднялся, чтобы заглянуть ей в лицо и насладиться его созерцанием, я с изумлением увидел, что веки ее плотно закрыты. Как греческая маска, изваянная из камня, без глаз, без дыхания, покоилась она — Офелия, но уже мертвая, плывущая по волнам, с бледным, безжизненным лицом на черном фоне потока. Я испугался. Впервые я почувствовал действительность в этом фантастическом происшествии. С ужасом я понял, что я овладел спящей, что держал в объятиях опьяненную, больную сомнамбулу, приведенную ко мне только духотой ночи и красной, зловещей луной,— существо, которое не сознает своих поступков, которое меня, может быть, не желает. Я испугался. Меня давила тяжесть ее тела. Тихо я хотел опустить ее в кресло, на кровать, чтобы не вырвать насильно из рук опьяненной чашу наслаждений, которых она, быть может, не хотела мне подарить, чтобы не воспользоваться безумием, бродившем в ее крови. Но, почувствовав, что я ее оставляю, она умоляюще прошептала:

— Не покидай меня! Не покидай меня!

И еще жарче впивались ее губы, еще теснее прижалось ко мне ее тело. Страдальчески напряженным было ее лицо с закрытыми глазами, и с ужасом я понял, что она хотела проснуться, хотела — и не могла; что ее опьяненное сознание рвалось из заключения и стремилось к свету. Но именно то, что под этой свинцовой маской сна шевелилось что-то, что стремилось вырваться из этой заколдованности, вызывало во мне опасное и соблазнительное желание разбудить ее.

Я сгорал от нетерпения увидеть ее бодрствующей, говорящей, живым существом, не только сомнамбулой, и во что бы то ни стало я хотел пробудить к жизни ее бессознательно наслаждающееся тело. Я привлекал ее к себе, я тряс ее, я впивался зубами в ее губы и пальцами в ее руки, я хотел заставить ее открыть глаза и сознательно отдаться тому, к чему побуждал ее неосознанный инстинкт. Но она только сгибалась и болезненно стонала в цепких объятиях.

— Еще! Еще! — лепетала она с мольбой, с бессмысленной мольбой, которая меня возбуждала и лишала рассудка.

Я чувствовал, что пробуждение было близко, что оно прорывалось из-под беспокойно шевелившихся, сомкнутых век. Все крепче и крепче я обнимал ее, все теснее прижимал ее к себе, и вдруг я почувствовал, что слезы покатились из ее глаз, и я выпил их соленую влагу. Все трепетнее подымалась ее грудь, она стонала, руки ее судорожно сжимались, как будто хотели побороть какую-то сковавшую их силу, подобно обручу окружившую ее сном, и вдруг, как молния в мире, насыщенном грозой, что-то в ней сломалось. Снова она стала для меня обременяющей тяжестью, ее губы оторвались от моих, руки упали, и, когда я опустил ее тело на постель, она лежала, точно мертвая. Я испугался. Невольно я прикоснулся к ней, тронул ее руки и щеки. Они были холодные, оцепеневшие, каменные. Только в висках тихо трепетала кровь. Словно мрамор, словно статуя, лежала она, с щеками, влажными от слез, тихо дыша напряженными ноздрями. Иногда проходил еще легкий трепет по ней — отливающая волна разгоряченной крови, но грудь дышала все спокойнее и ровнее. Все больше и больше она напоминала изваяние. Все человечнее — по-детски — все яснее, естественнее становились ее черты. Судорога прошла, она дремала, она спала.

Я остался сидеть на краю постели, трепетно склонившись над ней. Как спокойное дитя, лежала она с закрытыми глазами и с легкой улыбкой на устах, возбужденная сновидением. Низко я наклонился над ней; я различал каждую линию ее лица, чувствовал ее дыхание на своей щеке, и чем меньше становилось расстояние между нами, тем отдаленнее и таинственнее представлялась она мне. Где витали теперь мысли той, которая так недавно лежала здесь, окаменелая, горячим потоком душной ночи принесенная ко мне, чужому, и теперь, будто мертвая, выброшенная на берег? Кто она, покоящаяся здесь на моих руках? Откуда она, чья? Я ничего не знал о ней и только чувствовал, что меня ничто не связывает с ней. Я посмотрел на нее — одинокие минуты, тишина которых нарушалась только поспешным тиканьем часов — и старался прочесть разгадку в ее безмолвном лице, но безуспешно. Мне хотелось пробудить ее ото сна, здесь, в моей комнате, в таком близком соседстве с моей жизнью воздвигнувшего между нами стену отчуждения, и вместе с тем я боялся ее пробуждения, первого ее осмысленного взгляда. Так сидел я в безмолвии час, может быть два, оберегая сон этого чужого мне существа, и постепенно стало мне казаться, будто это не женщина, не человек, с которым столкнуло меня это странное приключение, а сама ночь, открывшая мне тайну жаждущей, истомленной природы. Мне казалось, будто здесь распростерт передо мною весь обезумевший от зноя мир, будто земля восстала в своих муках и послала ее вестницей этой удивительной, фантастической ночи.

Что-то зазвенело у меня за спиной. Я вздрогнул, как преступник, пойманный на

месте преступления. Еще раз зазвенело окно, как будто в него стучал огромный кулак. Я вскочил. За окном открывалась изумительная картина: преобразившаяся ночь, новая и грозная, сверкающая во мгле и полная дикого движения. Шумы, шорохи, свист и вой царили в ней и громоздились в сливавшуюся с небом черную башню; уже кидался мне навстречу в диком порыве холодный влажный ветер. Из мрака он вырвался, мощный, сильный, кулаками колотил в окна, стучался в дом. Как страшная пасть, раскрылся мрак, тучи неслись и с бешеной быстротой выстраивали черные стены, и что-то зловещее завывало между небом и землей. Сломлена была упорная духота этим диким потоком, все неслось, набухало, ширилось, перемещалось в бешеном беге, наполнявшем небесную твердь, и деревья, глубокими корнями вросшие в землю, стонали под невидимым свистящим бичом урагана. И вдруг разорвались облака: молния, расколов небо пополам, ударила в землю. И следом за ней прогремели раскаты грома, будто вся башня облаков обрушилась в пропасть.

Шум послышался за моей спиной. Она приподнялась. Молния сорвала сон с ее глаз. Растерянно она оглядывалась.

— Что это,— промолвила она,— где я?

И совсем иным прозвучал ее голос. В нем еще слышался страх, но звук его был ясен, резок и чист, как освеженный воздух. Снова молния осветила ландшафт. На лету засверкали контуры елей, потрясаемых бурей; тучи, бегущие по небу, как взбесившиеся звери; комната в ослепительном белом сиянии, но белее всего был ее бледный облик. Она вскочила. Ее движения вдруг стали свободны,— такой я ее еще не видел. Она пристально вглядывалась в меня в темноте. Ее взор показался мне чернее ночи.

— Кто вы? Где я? — проговорила она и испуганно запахнула раскрывшееся на груди платье.

Я приблизился, чтобы успокоить ее, но она ускользнула.

— Что вам нужно от меня? — громко вскрикнула она, когда я подошел к ней.

Я подыскивал слова, чтобы успокоить ее, заговорить с ней, и теперь только заметил, что не знаю ее имени. Вновь молния осветила комнату. Фосфорически засверкали белые стены; бледная, она стояла передо мной с испуганно протянутыми руками, и в ее пробудившемся взоре была безграничная ненависть. Напрасно старался я во мраке, обрушившемся на нас вместе с громом, взять ее за руку, объяснить ей, она вырвалась, распахнула дверь, освещенную новой молнией, и выбежала из комнаты. И вместе со стуком захлопнувшейся двери раздался раскат грома, как будто небеса свалились на землю.

И поднялся шум: ручьи падали с бесконечной высоты, как водопады, и ураган бросал их, как мокрые веревки, из стороны в сторону. Иногда он пригонял к оконным рамам струйки ледяной воды и сладкого, пряного воздуха. Я стоял у окна, глядел вдаль, пока не потекла вода с моих намокших волос. Но какое блаженство ощущать эту чистую стихию! Мне казалось, что зной, паливший меня, разрешился в этих молниях, и мне хотелось закричать от восторга. Я позабыл все кругом; наслаждаясь, я вдыхал свежесть и бодрость; я поглощал эту прохладу, как земля, как поля; я ощущал блаженство встряхнувшихся деревьев, с легким шумом шелестевших от мокрых ударов дождя. Демонически прекрасна была сладострастная борьба между небом и землей, гигантская брачная ночь, наслаждение которой я сочувственно переживал. Молнией вздрагивало небо, с громом ниспадая на трепещущую землю, и свершалось в этом стонущем мраке яростное слияние выси и глубины, подобно слиянию пола с полом. Деревья сладострастно вздыхали; все ярче сверкали молнии, сплетаясь с далями; раскрыты были горячие жилы небесного свода, они изливались и соединяли свои потоки с земными потоками дорог. Все было разбросано, все переплелось — ночь и мир. Чудесное новое дыхание, в котором аромат полей сочетался с огненным веянием неба, проникло в меня освежающей прохладой. Три недели накопившегося зноя разразились в этой борьбе, и наступившую разрядку я ощущал и в себе. Мне казалось, что буйный дождь проникает в мои поры, что очищающий вихрь шумно обвевает мне грудь, и я ощутил себя и свое переживание воплощением мира, урагана, дождя, ночи и всего живого в бурном излиянии природы. И потом, когда все постепенно стало успокаиваться, когда молния лишь поблескивала на горизонте синеватым огнем, гром погромыхивал отеческой угрозой и дождь ритмично стучал под улегшимся ветром,— тогда и мной овладели успокоение и усталость. Музыка звучала в моих вибрирующих нервах, и мягкое спокойствие снизошло на мое тело. О, заснуть бы теперь вместе с природой и проснуться вместе с ней! Я сбросил одежду и лег в постель. Еще оставался в ней мягкий след чужих форм. Я ощутил его смутно: это странное приключение еще раз коснулось моей памяти, но я уже не понимал его. Дождь шумел и шумел, смывая мои мысли. Я уже переживал их, как сновидение. Все еще я стремился вернуться к загадочному происшествию, но дождь шумел и шумел; будто колыбель, убаюкивала меня эта сладостно звенящая ночь, и я уплывал в ее сонную глубину.

На следующее утро, подойдя к окну, я увидел преображенный мир. Ясный, с четкими и яркими контурами, покоился ландшафт в уверенном солнечном блеске, и в вышине, сияющим зеркалом этого покоя, круглился над ним горизонт. Ясно были очерчены границы, бесконечно далеким казалось небо, которое накануне так глубоко врезалось в поля, оплодотворяя их. Но теперь оно было далеко, на расстоянии целых миров, и не касалось своей жены — благоухающей, свободно дышащей, умиротворенной земли. Голубая пропасть сверкала прохладой между ними; без вожделения, чужие друг другу, обменивались они безразличными взглядами — небо и земля.

Я спустился в зал. Все уже собрались. Иными стали и люди, не похожи они были на тех, что бродили здесь в эти ужасные недели зноя. Все было в движении. Их смех звучал радостно, голоса — мелодично и сильно, исчезла сковывавшая их вялость, спало угнетавшее их бремя духоты. Я сел между ними, не чувствуя к ним ни малейшей вражды, и какое-то любопытство побудило меня найти среди них ту, облик которой растворился в сновидении. И вот, между матерью и отцом, за соседним столиком, сидела та, которую я искал. Она была весела, плечи ее легки, и я слышал ее смех, беззаботный и звонкий. Любопытным взглядом окинул я ее. Она меня не заметила. Она рассказывала что-то веселое, и между словами ее звенел детский смех. Наконец, случайно она взглянула на меня, и смех ее невольно оборвался при этом беглом взгляде. Она посмотрела на меня пристально. Что-то смутило ее: высоко поднялись брови, строго и напряженно устремился на меня ее вопрошающий взор, и лицо приняло принужденно-мучительное выражение, будто она старалась что-то вспомнить — и не могла. Полный ожидания, я посмотрел ей прямо в глаза: не выдаст ли она каким-нибудь движением волнение или стыд? Но она уже отвела свой взор. Через минуту он вернулся ко мне. Еще раз бросила она на меня испытующий взгляд. В течение секунды, длинной, напряженной секунды, я чувствовал его твердое, колющее металлическое острие, глубоко вонзившееся в меня; но сейчас же он покинул меня, успокоенный, и по беззаботной ясности взора, по легкому, почти радостному повороту головы я понял, что, бодрствующая, она ничего не знала обо мне, что наша близость исчезла вместе с магическим мраком. Чуждыми и далекими стали мы друг другу, как небо и земля. Она разговаривала с родителями, беззаботно шевелились стройные девичьи плечи, и зубы задорно блестели сквозь улыбку под тонкими губами, с которых всего несколько часов тому назад я пил жажду и томление целого мира.